

ЛЮСЬИЙ Александр Павлович / Alexander LYUSY

| НОВЕЙШИЙ АВВАКУМ |

ЛЮСЬИЙ Александр Павлович / Alexander LYUSYРоссия, Москва. Российский институт культурологии.
Старший научный сотрудник. Кандидат культурологии.Russia, Moscow.
Russian Institute for Cultural Research, Senior Researcher.
PhD in Cultural Science.allyus1@gmail.com

НОВЕЙШИЙ АВВАКУМ

О ФЕНОМЕНОЛОГИИ ПЕТЕРБУРГСКОГО ТЕКСТА

И ПЕРВОЙ МИРОВОЙ КРЫМСКОЙ СЕМАНТИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ *

Рассматривая театр современных семантических войн и исходя из своей ранее изложенной концепции Крымского текста русской культуры как южного полюса Петербургского текста, автор в полемический форме отстаивает идею текстуальной революции гуманитарного знания в современной России и ядерную структуру локального текста культуры. Остро поставлена проблема методологического неокOLONIALИЗМА, возникающего в процессе механического применения инициированной книгами Эдуарда Саида методологии постколониальных исследований применительно к постсоветскому пространству. Опубликованный ранее в интерактивной части Международного журнала исследований культуры фрагмент работы вызвал оживленную полемику читателей: <http://www.culturalresearch.ru/ru/hist-c/54-errormed>

Ключевые слова: семантические войны, семиозис, сверхтекст, текстуальная революция, медиализация, методологический неокOLONIALИЗМ, эктропия, саудизм

The NEWEST NABAUKUK. About Phenomenology of the Petersburg Text and the First World Crimean Semantic War

Considering the theater of modern semantic wars and proceeding from before the stated concept of the Crimean text of Russian culture as the South Pole of the Petersburg text, the author stormily defends the idea of the textual revolution of humanitarian knowledge in modern Russia and the nuclear structure of the local text of culture. The problem of methodological neo-colonialism arising over the course of the mechanical application initiated by the books of Edward Said's methodology of postcolonial research, with reference to the post-Soviet territory, is sharply debated. Published earlier in an interactive section of the International Magazine of Cultural Research, the article has caused much controversy among readers: <http://www.culturalresearch.ru/ru/hist-c/54-errormed>

Key words: semantic wars, semiosis, supertext, textual revolution, medialization, methodological neo-colonialism, ectropion, saidism

Идет оГЛЕБление сети.
ПробУКСовка славистской цепи.
Сын за Отца — лаур-лиры.
Так говорил мне Ливри.
А. Люсый

Обозначенные С. Хантингтоном перспективы культурных противостояний приобретают очертания семантической конкретики. «К новой картографии мировых связей и системе координат можно сегодня прилагать, — утверждает философ А. И. Неклесса, — массу языковых новообразований — это от-

крытое поле действия: простор для лексических набегов и театр семантических войн. В конфигурации формирующегося миропорядка намечается диссипативное, неравновесное, но в то же время устойчивое соединение цивилизации и дикости, футуризма и архаики в некотором синкретичном культурном тексте»¹. Своей концепцией Петербургского текста (далее — ПТ) В. Н. Топоров бросил методологический вызов России, и та ответила ему сквозь все попытки текстологических приватизаций текстуальной революцией гуманитарного знания.

Текстологическое разрыв-сердце России

Первый же абзац авторского вступления в «итоговой» (подготовленной уже не самим автором) книге В. Н. Топорова «Пе-

* Отдельные части этого материала ранее были опубликованы в первом выпуске альманаха «Антропологика» (Сыктывкар, 2011. С. 149–163) и в интерактивной версии Международного журнала исследований культуры: <http://www.culturalresearch.ru/ru/hist-c/54-errormed>. Оживленная дискуссия читателей в сети заставила автора доработать окончательный вариант статьи.

¹ Неклесса А. Мир Индиго. Социокультурная и политическая мобильность в условиях цивилизационного транзита // De futuro, или История будущего. М., 2008. С. 236.



ЛЮСЬИЙ Александр Павлович / Alexander LYUSY

| НОВЕЙШИЙ АВВАКУМ |

тербургский текст» содержит неоспоримый посыл: «Восстав из “топи благ”, Петербург расколол русское общество на две непримиримые части...»². Ведь раскол российского общества, породивший само это понятие, раскол, в «тишайшей» своей стадии возник еще в царствование отца Петра I Алексея Михайловича. Раскольник как тип, правда, сам еще внутренне не «раскалывался» в ходе церковного и общественного раскола, спровоцированного тогдашними *текстуально-редакторскими* реформами одержимого «византийской прелестью» патриарха Никона. Созданный последним подмосковный Новый Иерусалим занимает ментальное место как бы между Третьим Римом и Петербургом, а тогдашняя *контропричина* духовно-хозяйственного сопротивления озаряла пространства раскольничьего ухода.

Вышедший отчасти из раскольничьего пожара, как последующая литература из гоголевской «Шинели», *город-наводнение*, будучи торжеством петровской западноевропейской «прелести», начавший раскол, конечно, не погасил, а раздул далее, переведя и в иные, светские сферы российского бытия. Для одной части общества он стал «парадизом», «окном в Европу», в которую следовало втащить всю Россию, для других — бездной, сулящей эсхатологическую гибель. «Бесчеловечность» Петербурга оказывается органически связанной с тем высшим для России и почти религиозным типом человечности, который один только и может осознать бесчеловечность, навсегда запомнить ее и на этом знании и памяти строить новый духовный идеал»³. Этот тип человечности, носителем которого стала русская интеллигенция, принял раскол вовнутрь как светское крещение или инициацию. Тот, что ответил текстом на петровский вызов России («“Медный Всадник” — все мы находимся в вибрациях его меди»⁴) погиб «с свинцом в груди» (свинцом принятого вовнутрь раскола) и «жаждой мести» (мести не просто текстом-ответом, а — сверхтекстом, метатекстом, концептуальному вычитыванию которого и посвятил значительную часть своей жизни В. Н. Топоров.

Таким образом, Петербург российское общество не расколол, а сделал этот раскол необратимым, блистательно оформил и вывел на мировую арену, освободил «ядерную» энергию раскола и стал местом попыток ее созидательного применения, которая оборачивалась больше «разыгрыванием неопределенности», двусмысленности, призрачности, производя не новую энергию, а энтропию. Энтропию — текста. «Россияне, — приводит В. Топоров мнение забытого писателя Л. Неваховича, — долгое время не были знакомы с науками и художествами и не имели взаимности с образованными народами Европы. Но Россияне всегда имели мужественный дух, язык глубокий и обширный»⁵. Петербург превратил потенцию языка в актуальность текста, самодостаточного и в то же время вписанного в мировой контекст, а в супертекстуальном своем качестве основавшем новый исследовательский контекст.

Понятие ПТ, при всей своей относительности, имеет несколько слоев. ПТ, город, который можно читать как текст, полифонию текстов и стилей разных искусств, возник как па-

лимпсест. Он «писался» как будто бы на чистом листе бумаги — с точки зрения как своего творца Петра, так и, скажем, от имени всего тогдашнего прогрессивного человечества. «В вашем государстве, — писал философ Лейбниц Петру, — все, что касается до науки, еще ново и подобно листу белой бумаги, а потому можно избежать многих ошибок, которые вкрались в Европе постепенно и незаметно. Известно, что дворец, строящийся вновь, выходит лучше, чем тот, который строился веками и часто подвергался исправлениям и изменениям»⁶. Т. е. Россия никакое не *подсознание* Запада, как полагает Борис Гройс в одноименной книге⁷ (скорее — наоборот!). Предложенное нами выше понятие *злопространственность* (по аналогии с временной злободневностью/*доброночием*) отражает обреченность российского пространства быть полигоном осуществления рациональных по замыслу утопий западного происхождения, будь то просветительская, коммунистическая или «приватизационная».

Петербург, как известно, закладывался «назло» — не только дальнему «надменному соседу» (Швеции), но и «своей» ближайшей соседке — боярской Москве. Он стал поистине «блистательным опричником» нового поколения и значения⁸. Империя зла, полюбишь и пазла — зла (глагол!) в смысле мировой злободневности и *злопространственности* (назло и себе самой, многоукладной и многосоставной).

Концепция ПТ как последовательного, возвращающегося к исходной ядерной структуре движения «локальной» темы, создавалась московским филологом Владимиром Николаевичем Топоровым тоже в значительной мере «назло». Кому? Той же, но уже советской Москве и всему советскому периоду российской истории. А заодно и «назло» французскому неомарксистскому постструктурализму с его специфическими концептуальными «удовольствиями от текста». Но также «назло» и многим своим собственным текущим и будущим последователям, в адрес которых адресована оговорка, что такая исследовательская методология применима только к столь семантически (знаково) насыщенному городу, как Петербург, и переносима на иные территории. Во всяком случае концепция эта выходит за рамки собственно московско-гартуской семиотической школы, которая отождествляется с именем Топорова. В ней ощутимо размежевание с ближайшим семиотическим соратником по данной школе Юрием Лотманом⁹.

Теперь, получается, и «назло» группе преимущественно петербургских филологов во главе с гамбургским славистом

² Топоров В. Н. Петербургский текст. М.: Наука, 2009. 820 с. (Памятники отечественной науки. XX век). С. 25.

³ http://philologos.narod.ru/ling/topor_piter.htm

⁴ Блок А. Записные книжки. 1901—1920. М., 1965. С. 169.

⁵ Топоров В. Н. Петербургский текст. М.: Наука, 2009. 820 с. (Памятники отечественной науки. XX век). С. 119.

⁶ Куренной В. Лейбниц и Петровские реформы // Отечественные записки. 2004, № 2.

⁷ Гройс Б. Искусство утопии. М., 2003. С. 150—167.

⁸ Лусый А.П. Блистательный опричник // Обсерватория культуры. 2008, № 5. С. 70—73.

⁹ У Лотмана текст — метонимия, перенос, реконструируемого целостного значения, Топоров обрисовал крайние пределы текста, в рамках которых обращение к нему сохраняет свой смысл: при экстенсивном варианте это изучение «теоретико-множественной суммы признаков» в произведениях, образующих «субстрат» текста, при интенсивном варианте — «теоретико-множественное произведение тех же признаков»). Вообще, типологически соотношение между Владимиром Топоровым и Юрием Лотманом на методологическом уровне можно отдаленно соотнести с соотношением Андрея Сахарова и Александра Солженицына, не зря же Топоров стал и первым лауреатом литературной (!) премии Солженицына.



ЛЮСЬИЙ Александр Павлович / Alexander LYUSY

| НОВЕЙШИЙ АВВАКУМ |

В. Шмидом, авторов *самосомневающегося* сборника¹⁰, выдвинувших программу неких текстуальных деяний как условия положительного ответа на заключающийся в названии самого сборника вопрос, и не заметивших, что ответы на все эти вопросы давно уже даны В. Н. Топоровым во множестве статей, ранее рассыпанных в разных, нередко и малодоступных, изданиях¹¹.

Однако вернемся к В. Топорову: «...Петербург имплицитно свои собственные описания с несравненно большей настоятельностью и обязательностью, чем другие сопоставимые с ним объекты описания (например, Москва), существенно ограничивая свободу выбора». Значит, петербургский — самый несвободный (свобода может быть только «тайной», таково петербургское «эхо русского народа», в отголосках которого зачинался и рождался феномен русской интеллигенции), «договорной» при всей своей экстремальности. То есть ПТ обеспечивал свою самодостаточность и суверенность «исходным и постоянно возобновляющимся компромиссом-договором «петербургского» с текстом: складывающийся текст ставил городу свои условия — в обмен на поставляемое ему «эмпирическое» текст требовал для себя (и получил) независимости, проявляющейся в том, что он собирался делать с этим «эмпирическим»».

ПТ второго уровня, ПТ русской литературы как высшая стадия такого самоописания не сводится к сумме всего, что написано о Петербурге. Можно всю жизнь посвятить описыванию этого города, но так и не быть принятым в *полупотаенное* общество его супертекста. А можно родиться за пределами Петербурга, прожить всю жизнь за границей и ни разу не приехать сюда, оставаясь при этом «пленником» ПТ. Топоров предлагает развернутую систему критериев выделения ПТ в произведениях (что отчасти напоминает периодическую таблицу Менделеева) в сфере внутренних состояний человека, окружающей природы и культуры, способов выражения высших ценностей. ПТ имеет свой базовый лексико-понятийный словарь и свою грамматику, насыщенную особыми показателями *модальности* (вдруг, внезапно, в это мгновение, неожиданно) и своими элементами *метаописания* — театр, сцена, кулисы, декорация, антракт, публика, роль, актер, марионетки, пружины. Принцип комбинации как микро-, так и макроэлементов ПТ задается основным мотивом — выходом из центра, середины, узости-ужаса на периферию — на простор, широту, к свободе и спасению, через символическое умирание и смерть — к искуплению и воскресению. Так осуществляется познавательный прорыв в сферу символического и провиденциального.

Любопытно, что самым любимым поэтом для исследователя, если исходить из объема написанного, является не родоначальник ПТ Пушкин, заставивший город «завибрировать» текстуально в пространстве и времени, а Михаил Муравьев, представитель ПТ на стадии его «свернутого» существования в виде *претекста*: «Тонкий туман, теряющий почти синеву свою в солнечных лучах, стоял вокруг берегов. Мне было мило, что я петербургский гражданин: вить все делает воображение»¹². В письмах Муравье-

ва ученый находит более сотни «местообразующих» и дифференцирующих пространство наименований, сочетание экстенсивной и интенсивной установок взгляда, что позволяет говорить о двоякой проработанности — вширь и вглубь, на уровне вещей и идей. «В городе не все смеют быть добродетельными... Правда, сударыня, что в Петербурге жить можно весело и с людьми, но ежели прежде можешь жить с собою»¹³.

Думаю, что аналогичная муравьевской, еще не вполне опознанная, хотя и оспариваемая роль в структуре Крымского текста, поначалу формировавшегося в качестве южного полюса ПТ, принадлежит Семену Боброву¹⁴.

Достоевский от Топорова — самый масштабный сверхтекстовый материк внутри ПТ. Используя в тексте «петербургский» набор тем и предметных символов, он не допускает их бытового «овеществления», все время возвращает читателя к открытой бытийственной сфере. Можно сделать вывод, что весь объем текстов Достоевского и есть культурное и мыслительное *разрыв-сердце* России. Внутри «густого» такими мотивами текста ученый обнаруживает «массив сверх-сгущений — от 5 до 8 употреблений слово *сердце* на странице». Такая густота сердечности впитывается в тесно связанную совокупность разнообразных контекстов, позволяющую говорить о переплетающемся с ПТ «тексте сердца». Именно здесь оно и застучало, под стать «тяжело-звонкому скаканью».

Огромный по объему том «Петербургского текста», соответствующий «исконному» плану автора («промежуточный» «Петербургский текст русской литературы» 2003 года, как выясняется, оказался компромиссом автора с 300-летним юбилеем города, к которому нужно было срочно издать ту книгу) сам по себе свидетельствует о большой работе составителей. И все же именно таким хотел его видеть сам автор, вольно или невольно оставивший и для издателя комментаторские ловушки? Нередко объем комментариев ученого не уступает «основному» объему работ. Но среди них есть несколько, оставленных по каким-то причинам вообще без комментария. Ясно, что вступать в комментаторское соревнование с ученым-энциклопедистом решиться не каждый. Но хотя бы указать годы жизни литературоведа Дмитрия Максимова, писавшего стихи под именем Ивана Игнатова можно было бы, как и указать ссылки в насыщенной цитатами статье «Италия в Петербурге» (некоторые библиографические пробы были допущены, как это ни странно, и самим Топоровым, к примеру, относительно писателя Г. П. Блока).

То есть «пиетет» оборачивается нежеланием заниматься «черновой» работой? Куда приятней «защищать» «высокую» филологию от «популярной» культурологии, как это делает С. Г. Бочаров, окативший в своей статье презрением нынешних собственников «дома Раскольникова», «злбно» протестующих против присутствия посторонних на огороженной запирающейся решеткой территории. Между тем сам Топоров относился к культурологии куда лояльней. Собственно, формулируя концепцию ПТ он сам превращался из филолога в культуролога. Предмет его внимания — не только произведения разных ис-

¹⁰ Существует ли петербургский текст?: Петербургский сборник. Вып. // Под ред. В. М. Марковича и В. Шмидта. СПб., 2005.

¹¹ Леонид Кацис. Логос В. Н. Топорова в локусе «петербургского текста» русской литературы (петербургский фрагмент «картины мира» исследователя) // НЛЮ. № 98 (2009).

¹² Письма русских писателей XVIII века. Л., Наука, 1980.

¹³ Топоров В. Н. Петербургский текст. М.: Наука, 2009. 820 с. (Памятники отечественной науки. XX век). С. 40.

¹⁴ Люсьи А. П. Крымский текст в русской литературе. СПб.: Алетей, 2003; Люсьи А. П. Наследие Крыма: геософия, текстуальность, идентичность. М.: Русский импульс, 2007.



ЛЮСЬИЙ Александр Павлович / Alexander LYUSY

| НОВЕЙШИЙ АВВАКУМ |

куств (один из важнейших генераторов ПТ — «Медный всадник», «показательную» культурологическую экскурсию вокруг которого он проводит в статье), но и «низовые» тексты, до... туалетных надписей включительно. «Злоба» нынешних хозяев «дома Раскольникова» наверняка приобрела бы у него свою содержательность. Вполне можно сделать вывод об утверждении коммунал-капиталистического, с воровскими объятиями, социального строя текущего Петербургского текста, при всех планах его музеификации.

С аналогичной защитительной раздражительностью Сергей Георгиевич отзываясь о неких «охотниках», которых идеи Топорова «возбудили» (!) составлять другие подобные тексты — московский, сибирский, крымский. Любопытно, что отмеченная выше неудачная экскурсия проходила в ходе международной конференции «Крымский текст в русской культуре», участником которой был и Бочаров. Налицо попытка построить разделительную филологическую «решетку», отделяющую имеющих право на приватизацию наследия «невозбужденных», как теперь выясняется, «посвященных» от не имеющих прав на Топорова «возбужденных охотников» (почему не — жертв?).

Между тем, сам Топоров не только отстаивал уникальность ПТ, способность захватить, вовлечь в свой круг тех, кто ищет ответы на его вопросы, но и обучал желающих правилам выхода за его пределы, не боясь «сорваться с проспекта прямо в метафизику». Внутри монолита ПТ его обитателям тесно и душно, они ориентированы на «суетную косвенность с подмигивающей интонацией, поддразниванием, подозрением, подслушиванием. Как только герой Достоевского покидает эту дурную середину, и устремляется во-вне (на периферию), описанные выше особенности языка исчезают»¹⁵. Внутреннее освобождение Раскольникова происходит не в Петербурге, а в Сибири. Не стоит отмахиваться теперь и от попыток сибирских и московских филологов установить ядро Сибирского текста со своими постоянными мотивами перерождающей гибели, создающими свое «резонансное пространство». Что из того, что по отношению к Москве Топоров использовал не слово «текст», а — «минус-пространство»? Текстологическая база в соответствии с внутренними резервами компенсации производных отличий городов друг от друга и тут заложена в его работах о Николае Карамзине и Сигизмунде Кржижановском (хотя предпринимаются сейчас и чисто механические, отмеченные чертами методологической наивности, попытки перенесения схемы ПТ на иные пространства).

Отмеченная нами вначале «текстуальная революция» является ответом самого российского пространства на глубинные потребности национального семиозиса и культурной идентификации¹⁶. На основе локальных супертекстов формируется конкретизирующая в новых условиях «русскую идею» «русская теория», как можно определить уникальный комплекс знания, по ассоциации с понятием «французская теория» (как американские ученые определили комплекс гуманитарных исследований во Франции, объединяющий философию, филологию,

антропологию, социологию, семиологию, критику разнообразных областей культуры). И рецензируемый том Топорова в целом этому способствует.

«Под стражею скопцов гарема»: О количестве пушкинских путешествий по Крыму и Крымских свертков как таковых

В то же время возникают «тексты незнания» (или сознательно-го игнорирования?) и создаются их коалиции. Организаторов конференции «Крымский текст в русской культуре» в 2006 году (при поддержке РГНФ), которая была и одноименной, и альтернативной монографии автора этих строк, можно охарактеризовать не иначе как текстуальная Антанта — Пушкинский дом, Санкт-Петербургский университет и Сорбонна¹⁷. В пику ей выступил своеобразный Тройственный союз в составе Института Лотмана при Бохумском университете (Германия), Института Европейских культур (при РГГУ) и Таврического национального университета. Их стараниями в сентябре 2006 года в Крыму была проведена Международная Летняя школа, тоже

¹⁷ При всей проблематичности взаимоотношений Н. Букс и Сорбонны, о чем «гудит» Интернет. Профессиональная оценка научного уровня данного текстостроителя: «...Единственная статья сборника, которую мы не рекомендовали бы студентам в качестве образчика прочтения Набокова, — это французское эссе Норы Букс, профессора Университета Сорбонна (Париж IV), автора монографии “Эшафот в хрустальном дворце: о русских романах Владимира Набокова” (1998). Его заглавие “Набоков и психиатрия: случай Лужина” может привлечь любителей устарелой и грубо редуционистской игры — постановки психиатрических диагнозов литературным героям, кажущейся особенно “скандальной” применительно к Набокову, не упускавшему случая обругать венского шамана... Этому исследовательскому жанру вполне отвечает стиль — самоуверенное высказывание эффектных, но ничего не объясняющих максим: “большую историю” модернизма сменили шизоидные и шизофренические формы авангарда и постмодернизма; поэтику каждого романа Набокова определяет лежащий в его основании один структурный принцип, дискурс или текст — вальс для “Короля, дамы, вальета”, любовь соловья и розы для “Машеньки”, для “Защиты Лужина” это, “без всякого сомнения”, работы по психопатологии аутизма. Один крупный нзпман, “человек-собака”, которого очень умственно вспоминает Нора Букс, читал “Аутистическое мышление” Блейлера, однако ему это не помогло — профессор Титанушкин изгнал его из сумасшедшего дома, потому что “не уважал симулянтов”. Попытка обнаружить в основании сложного литературного текста одну-единственную порождающую модель также представляется симуляцией филологического анализа, его имитацией. Это вредная для студентов система мышления: в ее основании лежит простейшее наблюдение, доступное самому наивному читателю: Лужин — вылитый “человек дождя”, аутист; потом сообщается масса любопытных сведений по истории изучения аутизма, никак не связанных с романом, но придающих статье вид научности; далее проводятся частные параллели между мышлением, языком, манерой Лужина и симптомами аутизма — и в финале эта психопатологическая симптоматика, безо всяких собственно филологических доказательств, объявляется основанием поэтики романа. Такой способ чтения легок и даже эффектен (исследователь заявляет, что ему удалось найти единственный верный способ чтения Набокова, оставшийся недоступным предшественникам), но учиться ему не следует: он не способствует экспликации замысла автора, заставляет игнорировать те черты текста, которые не работают на искусственно придуманную исследователем модель, редуцирует специфику литературности к скучной загадке с ответом, напечатанным внизу вверх ногами». Мария Маликова. < LETTERARIA / A cure di Alide Cagidemetro e Daniela Rizzi. — Venezia: Cafoscarina, 2006. — (Quaderni del Dottorato in Studi Iberici, Anglo-americani e dell'Europa Orientale. 2006. № 2). > // НЛО. № 92 (2008).

¹⁵ Топоров В. Н. Петербургский текст. М.: Наука, 2009. 820 с. (Памятники отечественной науки. XX век). С. 402.

¹⁶ См. сборники «Семиозис и культура», Вып. 1–6. Сыктывкар, 2005–2010 (и далее).



ЛЮСЬИЙ Александр Павлович / Alexander LYUSY

| НОВЕЙШИЙ АВВАКУМ |

задаваясь вопросом «Существует ли Крымский текст?» на коммерческих основаниях («подучиться» крымскому тексту с помощью перепечатанной через Интернет диссертации на эту тему автора этих слов там можно было, внося 12 500 рублей). В общем, беру на себя смелость констатировать факт I-ой Мировой Крымской семантической войны¹⁸.

Закреплением текстологических завоеваний новой текстологической «Антанты» стал сборник «Крымский текст»¹⁹. В сборнике помещено немало любопытных историко-литературных материалов, но лишь одна из статей соответствует сделанной в его названии концептуальной заявке. При этом становится очевидной, куда и против кого данная заявка «заточена».

«Понятие крымский текст ввел в научный оборот А. П. Люсьий. Но ответа на вопрос о специфике этого пространства как локального он не дал, — утверждает М. В. Строганов в статье «Мифологические предания счастливей для меня воспоминаний исторических (и не только Пушкин)...». А кто — дал?

«Крым — это, во-первых, сад, а во-вторых, курорт. В культуре XIX в. и наследующей ей традиции это в первую очередь экзотический сад, часто даже — райский сад. В культуре XX в. — это по преимуществу курорт. Прежние приезжие днем путешествовали по Крыму, нынешние валяются на пляже. Прежние приезжие по ночам писали записки, нынешние занимают менее интеллектуальным, зато всем (в той или иной степени) доступным делом», — формулирует сам М. В. Строганов структуру искомой специфики, ссылаясь на Максимилиана Волошина. «Волошин утверждал, что русские художники, как правило, воспринимали Крым с точки зрения туристов. А. П. Люсьий, который процитировал эти слова, не обратил на них должного внимания».

Однако в действительности внимание и к этим, и ко многим другим высказываниям Волошина было проявлено, и в результате был сформулирован вывод, что этот поэт не только критиковал предшественников за «туристичность» и «курортность» их крымского подхода, но и «позитивно» изменил саму парадигму Крымского текста²⁰. То есть предложил в противовес текстопорождающему «внешнему» мифу Тавриды «внутренний» миф Киммерии (в котором не все сводилось к пресловутому «обормотству»). «Вот эта опаленная и неуютная земля, изъеденная щелочью всех культур и рас, прошедших по ней, осеянная безымянными камнями засыпанных фундаментов, нашла

¹⁸ Ход ее изложен в указанной выше авторской книге «Наследие Крыма: геософия, текстуальность, идентичность». М., 2007. С. 97–105.

¹⁹ «Крымский текст. Материалы международной научной конференции. Санкт-Петербург, 4–6 сентября 2006 г. / Под ред. Н. Букс, М. Н. Виролайнен. — СПб., 2008.

²⁰ «Отношение русских художников к Крыму было отношением туристов, просматривающих прославленные своей живописностью места. Этот тон был задан Пушкиным, и после него, в течение целого столетия поэты и живописцы видели в Крыму только:

Волшебный край — очей отрада.

И ничего более. Таковы все русские стихи и картины, написанные за XIX век. Все они славят красоты южного берега и восклицательных знаков в стихах так же много, как в картинах тощих ялтинских кипарисов. Среди этих гостей бывали, несомненно, и очень талантливые, но совершенно не связанные ни с землей, ни с прошлым Крымом, а потому слепые и глухие к той трагической земле, по которой они ступали». Волошин М. Коктебельские берега. Симферополь, 1990. С. 217.

в себе силы, чтобы процвести в русском искусстве самостоятельной — «Киммерийской» школой пейзажа», — осмысливает М. Волошин это пространство «изнутри»²¹.

Благодаря Волошину крымский текст как бы возвращался к его истокам, к его «отцу-основателю» Семену Боброву, набросавшему такую схему:

*Художник, — рудослов, — певец,
Мудрец, писатель, — фармацевтик, —
Друид, — пустынный и любовник, —
Пастух, — философ, — самодержец, —
Несчастный и счастливый смертный, —
Все здесь найдут изящну область.*

Волошинская Киммерия — крымская литургия!

Упорно стремясь сбросить капитана Боброва с текстуального парохода современности, М. В. Строганов по-своему переиначивает хронологию путешествия по Крыму своего любимого «странной любовью» поэта: «Пушкин реализовал в Крыму оба типа крымского поведения (не даром он «наше все»). Сначала (? — А. Л.) он пожил курортником в Гурзуфе с 19 августа по 5 сентября, купаясь в море, наслаждаясь виноградом и солнцем; недаром именно с Гурзуфом связана вполне курортная легенда о том, как он подсматривал за купающимися барышнями Раевскими. Потом вместе с Н. Н. Раевским-старшим и Н. Н. Раевским-младшим Пушкин проехался настоящим туристом по Южному берегу и посетил в числе прочих мест Бахчисарай»²². Однако в действительности «сначала» Пушкин в Крыму посетил Керчь и Феодосию, где наличествовала не очень удачная попытка реализовать иной тип путешествия — т. н. «ученого» путешествия. Художественно «Киммерия» тогда не была «построена» (хотя позже на рукописи «Евгения Онегина», где шла речь о демонической сущности главного героя, поэт нарисовал по памяти удивительно точные контуры Золотых Ворот Карадага, входа в Аид по представлениям древних греков). Пушкин был разочарован видом «Митридатовой гробницы» и стершимися «следами Пантикапеи». Однако в ходе своего «четвертого», воображаемого, не лишеного известной знатокам мистификаторской составляющей путешествия по Крыму уже переставший быть только романтиком поэт отчасти снова возвращается к исходному типу («Тавридой» Боброва в руках!).

Кто будет спорить, что пушкинский образ Крыма оказал на современников и потомков куда большее воздействие, чем некоторые предшественники и последователи Пушкина?

*В размеры стройные стекались
Мои послушные слова
И звонкой рифмой замыкались.
В гармонии соперник мой
Был шум лесов, иль вихорь буйный,
Иль иволги напев живой,
Иль ночью моря гул глухой,
Иль шопот речки тихоструйной.*

²¹ Волошин М. Там же.

²² Крымский текст в русской культуре: Материалы международной научной конференции. СПб., 2008. С. 78.



ЛЮСЬИЙ Александр Павлович / Alexander LYUSY

| НОВЕЙШИЙ АВВАКУМ |

В качестве аргумента для подкрепления своей позиции М. Строганов дает подробный обзор творчества забытого пушкинского эпигона Ивана Бороздны, многое заимствовавшего как будто бы у Пушкина: «Пред тихоструйною рекою». Однако сам Пушкин создавал подобные эпитеты по образцу Боброва: «Но при Бельбеке тихо-шумном». Т. е. Бороздна через пушкинское посредничество заимствовал крымские реалии у Боброва, как это делал и Пушкин по его достаточно известным собственным признаниям. Имя И. Бороздны было извлечено из забвения для полемически целей, сосредоточенных на «отсечении» Семена Боброва от «крымского текста» и русской поэзии как таковой (тут проявляется истинно катоновское у М. Н. Строганова «Бобровский Карфаген должен быть разрушен!»). «Как писал в стихотворении “К А. С. Пушкину” (1828) И. П. Бороздна, читатели Пушкина изучают географию не по картам и руководствам путешественников, а по его поэмам», — утверждает М. Н. Строганов. Однако сам Пушкин воссоздавал в поэзии крымские реалии с «Тавридой» С. Боброва в руках (или в голове), чего стоит его хорошо известное специалистам признание о желании оттуда «что-либо украсть»²³. А «кража» И. П. Бороздной выше упомянутого бобровского эпитета через голову Пушкина произошла, как у Шуры Балаганова, «машинально». На тему «Пушкин и Бобров» много писали, в частности, такой участник конференции как С. А. Фомичев (но его в числе авторов сборника нет).

Ясно, что и Батюшков, и Пушкин — поэты для русской литературы в целом более значимые, чем С. Бобров. Однако собирались же для выделения именно Крымского текста, а не за тем, чтобы повторить общие прописи. Заданный Батюшковым и Пушкиным образ романтической Тавриды имел определенные историко-литературные рамки, в один прекрасный момент превращаясь в симулякр, о чем говорили, в частности, французские участники конференции. Исторически же отцом-основателем Крымского текста во всем его многообразии стал именно С. Бобров, в лице которого крымская тема вошла в русскую литературу сразу же в своем самом масштабном выражении. Фигура И. Н. Бороздны явно проходная, М. Строганов не скрывает, что вспоминает его только ради того, чтобы продемонстрировать его подражательность Пушкину.

«...Повторим еще раз, никаких журчащих фонтанов в Бахчисарае нет», — вводит несведущего читателя в заблуждение М. Строганов (доказывая, что стихотворное «журчание» могло быть позаимствовано только у Пушкина же)²⁴. Однако зачем «повторять» то, что действительности не соответствует? Неподалеку от нежурчащего и хрестоматийного Фонтана слез с 1733 года до сих пор в Бахчисарае реально журчит предназначенный для ритуальных омовений «Золотой фонтан» (это не говоря об «обычных» городских фонтанах). Ложен и такой авторитетный крымоведческий посыл: «...Даже в советское время посещение помещений гарема было недоступно для экскурсантов»²⁵. Проведение экскурсий по гарему как состав-

ной части экспозиции ханского дворца было во время студенческой практики для меня трудовыми буднями.

«Не только жить в Крыму, но даже побывать в Крыму вовсе не обязательно для того, чтобы участвовать в формировании крымского текста», — делает заключение М. Строганов²⁶. Однако филологам, стремящимся исследуемый материал как-то концептуализировать, знание минимума реалий все же не повредит. Иначе получится воображаемый научный туризм (а совсем не та «радикальная» филология, к которой теоретически склонен профессор Строганов).

Ошибочная медиализация: саидистская заявка на Крымский текст

Существует несколько значений слова *медиализация*. В медицине это способ коррекции переломов костей посредством аппарата Илизарова. В рекламе — построение усредненной модели покупателя. В узком филологическом смысле это усреднение фонетического облика слова, заимствованного сразу из нескольких языков. В широком гуманитарном — функциональная и смысловая интерпретация реальности посредством различных технологий. Вот и в сборнике «Беглые взгляды: Новое прочтение русских травелогов первой трети XIX века», задачу описания которого в целом и уровня редактур я здесь не ставлю, одна из статей называется «Путешествия Осипа Манделштама в Крым: поэтическая медиализация». Ее автор, славистка из Гамбурга Дагмар Буркхарт, делает по ходу дела заявку на глобальный «Крымский текст» — вопреки некому «Люзый» (тем самым как бы насыщая мою фамилию дополнительным свистом южного ветра, *Süüd*, немаловажного понятия в общей концепции автора статьи).

Д. Буркхарт утверждает, что «для А. Люзого» (так в тексте! — А. Л.), напротив (? — А. Л.) русская литература является всеохватывающим понятием, в которое вписывается и Крымский текст; сразу же оговорю, что смысл первой части этого сложно-подчиненного предложения безоснователен²⁷. Сама же Д. Буркхарт, «ориентируясь на такие понятия, как “Петербургский текст”, “Кавказский текст”, “Итальянский текст”» выражает желание охватить «Крымским текстом» более глобальную целостность, от античных мифов об Артемиде и Ифигении до фильма А. Попогребского и Б. Хлебникова «Коктебель». Крымский текст тут — это «глобальный текст, в целом тематизирующий природу и культуру региона “Крым”, который писался рядом авторов в течение более чем двух столетий»²⁸.

Отметим, однако, что автор концепции ПТ, вызвавшей «текстуальную революцию» в гуманитарном знании, В. Н. Топоров оговаривал интенсивный, а не экстенсивный характер данного концепта. Т. е. сущность имеющего «ядерную» структуру ло-

²⁶ Там же.

²⁷ См.: Люсий А. П. Крымский текст в русской литературе. СПб., 2003, а также его же «Наследие Крыма: геософия, текстуальность, идентичность». М., 2007. Отзывы в НГ-Exlibris: http://exlibris.ng.ru/koncept/2007-06-21/11_news.html; http://exlibris.ng.ru/fakty/2007-07-05/3_text.html В «Русском журнале»: <http://www.russ.ru/pole/O-blizosti-krymskogo>; <http://www.russ.ru/Kniga-nedeli/Homo-Lusens-naslednik-Kryma>

²⁸ Беглые взгляды: Новое прочтение русских травелогов первой трети XX века». М.: НЛО, 2010. С. 127.

²³ Пушкин А. С. ПСС: В 16. т. Т. 13. Л., 1937. С. 80.

²⁴ Крымский текст в русской культуре: Материалы международной научной конференции. СПб., 2008. С. 81.

²⁵ Там же. 81.



ЛЮСЬИЙ Александр Павлович / Alexander LYUSY

| НОВЕЙШИЙ АВВАКУМ |

кального текста культуры — не в глобальном охвате, а в самоцитировании.

В качестве методологической базы для своего текстостроительства Д. Буркхарт избирает известные работы Эдварда Саида об ориентализме как культурном колониализме²⁹, а также «Топографию чужого» Б. Вальденфельса. Что получается в итоге? «Художественный хронотоп (в котором, по Бахтину, пространственные и временные свойства сливаются в одно многосмысленное текстуальное целое) в случае Крыма (Крым по-монгольски — “крепость”) с исторической точки зрения представляет собой греко-скифско-татарско-генуэзско-еврейско-османскую территорию; она была захвачена и аннексирована Россией в 1783 году...»³⁰. В действительности «захватчиками» по отношению к Крыму были четыре из пяти перечисленных с «исторической» точки зрения, которые почему-то противопоставляются какой-то «неисторической» в данном контексте России (а вполне «эндемичные» тавры, поделившиеся с греками культом Девы, не упомянуты вообще).

Мне уже приходилось дискутировать в защиту самого имени Э. Саида³¹. Но теперь ситуация сложнее. И Российская империя, и Советский Союз в работах самого Э. Саида упомянуты лишь мельком, в основном как объект западной политики³². Бегло отмеченные им особенности внутренней и внешней российской колонизации не противоречат установленному А. Тойнби историческому ритму вызова и ответа, а также концепции Д. Харви о «территориальной логике власти»³³. Подробно разбирая роль европейской беллетристики XVIII–XX вв. в распространении ориенталистских стереотипов, Саид из русских классиков вскользь упомянул лишь Льва Толстого, вообще не коснувшись ни Александра Пушкина, ни Михаила Лермонтова, при всем значении для их творчества восточной экзотики. Э. Саид предупреждал, что русский ориентализм требует дальнейшего изучения, оговаривая его отличие от «классических» европейских образцов (и при этом указывал на более «чистое» в научном отношении прошлое немецкого ориентализма, в отличие от однозначно «колониального» британского и французского).

Впрочем, Саида недавно попробовала «пересаидить» Ева Томпсон в книге «Трубадуры империи: Российская литература и колониализм» (Киев, 2006), но я бы не советовал двигаться в русле такой неисторичной, идеологически вымороченной трактовки с ярко выраженным «саидизмом» по отношению к фактам, что обесценивает ряд верных замечаний. Так, откровенно «колониальному» Пушкину, следовавшему байроновской модели описания «экзотических» народов, противопоставляются не современные ему европейские авторы, а прежде всего более ироничный, но при этом куда более позднейший литературный «колонизатор» Джозеф Конрад (1857–1924). «Пушкин цитиру-

ет турецкую поэму, которая сравнивает набожный (и поэтому, вероятно, непобедимый) Арзрум со Стамбулом, который обречен на падение потому, что не придерживается предостережений Корана. Автор этой поэмы, оказывается, ошибся: Арзрум пал перед россиянами»³⁴. Т. е., интереснейший опыт проникновения вглубь «восточного» мышления трактуется как примитивное торжество победителя. Однако у Пушкина во включенном в «Путешествии в Арзрум» отрывке «Стамбул гяуры нынче славят...» (1830) содержится не столько усмотренное Томпсон мелковатое уличение поэта-предшественника в ошибочности, сколько поэтическая солидарность с ним поверх сиюминутных событий. Благодаря способности к поэтической коммуникации Пушкин интуитивно постиг глубинные процессы, назревавшие в Османской империи и развернувшиеся в следующем веке именно в отмеченных им формах (Стамбул — «раздавят», но «не таков Арзрум»), т. е. падение Османской империи исторически неизбежно, как и исходящее из глубины страны возрождение новой Турции³⁵. И эта формула отнюдь не потеряла актуальности для понимания современных событий на Ближнем Востоке, спровоцированных последними неоимперскими «крестовыми походами». Однако в общеимперской сравнительной ретроспективе Томпсон хватается духа «добежать» только до канадской границы, как героям рассказа О’Генри «Вождь краснокожих» (но с канадской же стороны).

«Толстой придал мифологическое измерение российской истории XIX ст., подобно тому, как Редьярд Киплинг придал мифологию “доброе” колониализма британским деяниям в Индии»³⁶. Т. е., никакой «Хаджи-Мурат» (а до этого «Рубка леса») не может послужить «прощением» Льву Толстому за текстуально-имперский «грех» романа «Война и мир»! Автор становится в позу разрезающего ясный женский глаз героя фильма Бунюэля «Андалузский пес», с тем, чтобы заменить его фрагментарным посткоммунальным зрением от Людмилы Петрушевской, но почему-то хочется при этом завопить, подобно персонажу фильма «Джентльмены удачи»: «Хулиганы зрения лишають!». Иначе придется «слепым музыкантам» идти по миру собирать концептуальное подаяние.

Конрад, конечно, писатель интересный, но для литературной самокритики здесь более важен все же Велимир Хлебников, писавший об историческом долге русской литературы перед многими народами, который, по мере сил, отдается современными писателями (Алексеем Ивановым, Владимиром Штепой и другими).

Э. Саид в «Ориентализме» отмечал, с одной стороны, усиленное финансовое стимулирование ориенталистских исследований, с другой — отсутствие у последних самокритики³⁷. То же самое теперь порой наблюдается у нынешнего *пост-ориентализма* с постколониально вывернутым лицом, если судить по материальным условиям проведения конференций по постколониализму. Моему оппоненту по предыдущей главе М. В. Строганову удалось получить финансирование

²⁹ Саид Э. Ориентализм. СПб., 2006.

³⁰ Беглые взгляды. С. 128.

³¹ Люсьи А. П. Сусанин — XXI. Слависты в поисках ориентиров понимания // Вопросы культурологии. 2008, 1. С. 74–75. Эл. вариант: <http://www.russ.ru/Kniga-nedeli/Rossozapadency>

³² Бобровников В. Почему мы маргиналы? Заметки на полях русского перевода «Ориентализма» Эдварда Саида // Ab imperio. 2008. № 2. С. 326.

³³ Brenner R. What is, and what is not, imperialism? // Historical Materialism. Vol. 14. No. 4. P. 79.

³⁴ Томпсон Э. Трубадуры империи. Российская литература и колониализм. Киев, 2006. С. 111.

³⁵ Люсьи А. П. Наследие Крыма. С. 159–160.

³⁶ Томпсон Э. Трубадуры империи. С. 162.

³⁷ Саид Э. Ориентализм. Западные концепции Востока. СПб., 2006. С. 150.



ЛЮСЬИЙ Александр Павлович / Alexander LYUSY

| НОВЕЙШИЙ АВВАКУМ |

от международной неправительственной организации на проведение, конечно же, содержательно очень интересной Международной конференции «Русское болото» в апреле 2010 года. А вот в аналогичной поддержке конференции «Русский лес» — было отказано. Знаменательное стилистическое предпочтение!

Отметим при этом значительный вклад самой госпожи Буркхарт в исследование русской литературы в целом. Явно неудачными оказались у нее только поиски Саида в Крыму. Принимаясь за критику российского ориентализма, необходимо учитывать, что появление «своего Востока» для России означало возможность подтверждения статуса Европейской державы³⁸. Русские историки конструировали идентичность России, противопоставляя его другому пространству — по аналогии западной традицией, в параллель с европеизацией России. Т. е. Россия была и объектом, и субъектом ориентализма. Свой «непросвященный», «нецивилизованный», дикий «Восток» в процессе формирования идентичности России выполнял функцию «Другого», но роль Крыма далеко не исчерпывалась в качестве способа такой ориенталистской европеизации.

«Крым стал местом национальной самоидентификации русского образованного общества в смысле *отторжения* (? — А. Л.) последним Востока», — придумывает свою схему Д. Буркхарт³⁹. Во-первых, не отторжения, а просвещения. Во-вторых, собственно национальной самоидентификацией всегда лучше было заниматься в гуще своей собственной нации. Для образованных Крым стал в первую очередь вариантом «своей» античности, т. е. местом идентификации с мировой культурой, еще одним — и античным, и ориентальным «окном в Европу». А теперь и «окном в Саида» — хорошо бы вместе с «Бахчисарайским фонтаном», благодаря которому крымскотатарская культура вошла в мировой контекст. Механический перенос схем Э. Саида на постсоветское пространство без учета местной специфики, к примеру — работ крымскотатарского просветителя Исмаила Гаспринского (1851–1914), проповедника славяно-тюркского культурного единства, продуцирует теперь новейший методологический колониализм, при всех заявках на постколониальность.

Не все начиналось Саидом, не все им и продолжено. Роберт Ирвин недавно показал недостаточность научного базиса самого Саида при всех его попытках поколебать традиционные академические ценности, а также его невосприимчивость к иронии и юмору европейских и американских писателей и мыслителей («либеральных героев культуры»), ревность к действительно научным познаниям и полиглottству ученых-ориенталистов. Ирвин ссылается на мнение разных, в том числе и арабских ученых, в частности, отмеченное последними более слабое знание Саидом «восточной» истории по сравнению с «западной»⁴⁰. Об аналогичной поверхностности суждений Д. Буркхарт свидетельствует процитированное выше

однозначное определение топонима «Крым» как монгольского. В действительности, это не единственная версия. Более распространенная гипотеза — что это слово производно от тюркского «кьырым», что означает «ров». По одному из вариантов этой гипотезы, полуостров стал называться «Кьырым адасы», что по-татарски означает «остров за рвом» (откуда и «глобальность» образа «Остров Крым»).

Особо наглядная топонимическая ошибка в статье — путаница с названием крымского мыса и почти одноименного ему стихотворения Осипа Мандельштама. «Второе стихотворение, “Меганом”, ...название его указывает на мыс Меганон Юго-Восточного побережья Крыма»⁴¹. На самом же деле все наоборот: мыс называется *Меганом* (с греческого «большое пастбище»), а Мандельштам переделал его в «Меганон» в угоду рифме к слову «похорон»:

*«Туда душа моя стремится,
За мыс туманный Меганон,
И черный парус возвратится
Оттуда после похорон».*⁴²

Поэту подобная вольность простительна и даже поощрительна, но не ученому, при всей ориентации на «медиализацию» и неокOLONIALНЫЕ «беглые взгляды».

Текстологический эктропион

Внутреннее пространство ПТ, полагает В. Н. Топоров, идеально приспособлено «как к “разыгрыванию” неопределенности, двусмысленности, призрачности, т. е. всего того, что связано с максимальной омонимичностью, энтропией, так и к заключениям провиденциального характера, когда все тайное, невидимое, недоступное становится открытым, зримым, легко достижимым — пусть на миг (“сверхвидимость” как гипертрофия определенности и как самообнаружение “эктропической” тенденции)»⁴³. Понятие «эктропия» — методологический (при большей интуитивности) антоним для понятия «энтропия», означает повышение организованности динамических систем.

Но в офтальмологии это — название глазного заболевания, при котором мышцы нижних век становятся дряблыми и веки опускаются, словно выворачиваясь наружу, в результате чего обнажается внутренняя оболочка глаза. В гинекологии эктропион — это выворот слизистой оболочки канала шейки матки в результате родовых травм при самопроизвольных родах. Как тут в очередной раз не вспомнить волошинские историософские формулировки: «Что кесаревым вылушил сеченьем // Незрелый плод славянства — Петербург».

«Сначала — будто секретное донесение, потом — воззвание советского диссидента»⁴⁴, — осмысливает свой внутренний заказной текст герой романа-антиутопии современного крымского писателя Ивана Ампилогова «Вольер», который можно

debate // The Times. May 7, 2008: http://entertainment.timesonline.co.uk/tol/arts_and_entertainment/the_tls/article3885948.ece

⁴¹ Беглые взгляды. С. 131.

⁴² Мандельштам О. Собр. Соч.: В 4 т. Т. 1. М., 1993. С. 129.

⁴³ Топоров В. Н. Петербургский текст. С. 677.

⁴⁴ Ампилогов И. Вольер. Симферополь, 2009. С. 117. Как публицист автор известен под именем Андрей Кириллов: <http://www.bigvalta.com.ua/story/19894>

³⁸ Власюк О. А. Ментальная карта как способ репрезентации пространства русскими историками второй половины 19 в. Историческая память, власть и дисциплинарная история. Материалы международной научной конференции. Пятигорск — Ставрополь — Москва, 2010. С. 57.

³⁹ Бобровников В. Почему мы маргиналы? С. 326.

⁴⁰ Irwin R. Edward Said's shadowy legacy: Tricky with argument, weak in languages, careless of facts: but, thirty years on, Said still dominates



ЛЮСЫЙ Александр Павлович / Alexander LYUSY

| НОВЕЙШИЙ АВВАКУМ |

охарактеризовать как «Остров Крым» XXI века. Воображаемый Крым 2025 года здесь — «странное пространство с условной юрисдикцией и крайне запутанными отношениями формальной и фактической власти, особая автономная единица и политехнологический полигон, средоточие определенным образом «заточенной» высокотехнологической промышленности и контролируемой порочности, символом чего стал искусственный женский орган с дистанционным управлением. Целая система договоров вернула Крым под фактическое управление России (при формальной юрисдикции Украины), но — «боюсь, что именно владение своими прекрасными дворцами является пусть не единственной, но стержневой мотивацией российских властей уделять Крыму так много сил и денег». Туристическое

отношение, вопреки Волошину, продолжает доминировать на всех ментальных уровнях, соответственно настраивая и ответное отношение.

Крымский текст начинает писать сам себя, в своем «островокрымском» изводе (имеется в виде не только «Остров Крым» В. Аксенова, но и «Крушение республики Итль» Б. Лавренёва, «Падение Даира» А. Малышкина⁴⁵). Вообще-то, практически любой писатель сейчас в любой местности не столько пишет роман, сколько учреждает текст. «Итак, город звался Глинск...» (О. Ермаков. «Холст»). Чаще всего — разрыв-текст, или текст-выворачивание.

⁴⁵ Мальгин А. Итль, Даир, Terra Fictia. К мифологеме Крыма в XX веке // Предвестие. № 8 (1998).

